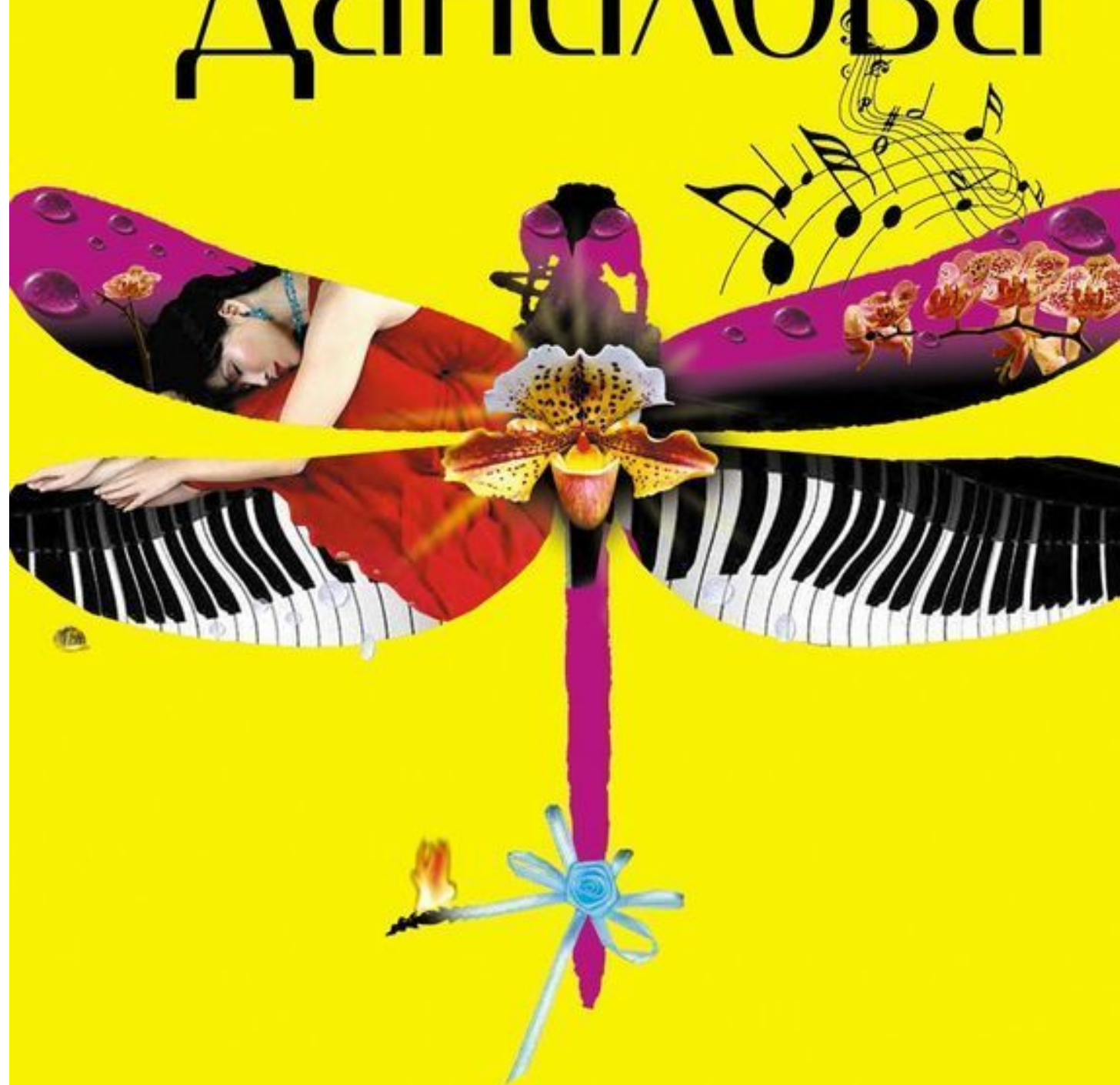


CRIME & PRIVATE

анна

Данцлова



ДОЖДЬ ТИГРОВЫХ ОРХИДЕЙ

Они контролируют каждый ее шаг,
но она вырвется из мучительного плена...

Crime & private

Анна Данилова

Дождь тигровых орхидей

«Автор»

2011

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Данилова А.

Дождь тигровых орхидей / А. Данилова — «Автор»,
2011 — (Crime & private)

ISBN 978-5-699-46971-0

Мир молодой пианистки Маши Руфиновой всегда ограничивался родительским домом. Даже в училище ее возил телохранитель отца, внимательно следя за тем, чтобы девушка не общалась с сомнительными людьми и не попала под их дурное влияние. Но однажды Машу похитили прямо с концерта, на котором она выступала. Родители готовы обвинить в похищении каждого. И первым подозреваемым становится кавалер дочери - Михаил Хорн. Он был последним, кто видел Машеньку, говорил с ней и подарил букет тигровых орхидей...

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

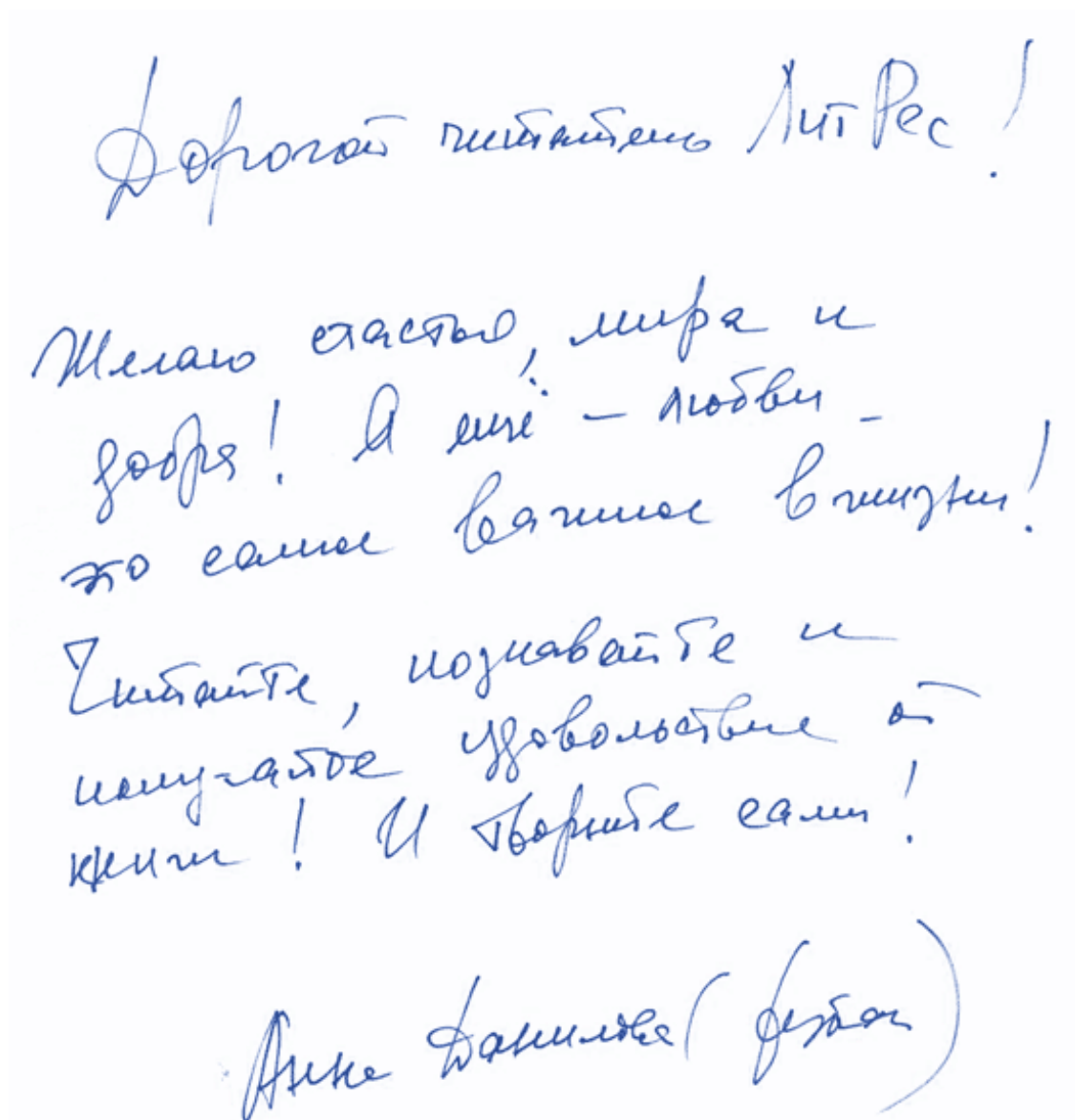
ISBN 978-5-699-46971-0

© Данилова А., 2011
© Автор, 2011

Содержание

Анна Данилова	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Анна Данилова
Дождь тигровых орхидей



Нельзя сказать, чтобы тем утром Дмитрий проснулся не в духе, вовсе нет. Квадрат его спальни был полностью залит июньским солнцем, а это означало, что впереди еще один день работы над пейзажем. Но щебетание Марты за дверью, плеск воды, звуки шагов – так ходит по веранде отец, когда курит свою первую за утро сигарету, – звон посуды из летней кухни, визг детей, доносящийся с пляжа, – все это как-то раздражало, отвлекало. Он долго лежал, не в силах подняться, и разглядывал узор на кружеве занавесок. Внезапно в дверь постучали. Митя вздрогнул. Это стучала, конечно же, она. «Марта совсем сошла с ума. Если ее не остановить, то отец все узнает. Что она придумала на этот раз? Ну, давай-давай, Марточка, открой дверь, скользни блестящей свежее умытой змейкой в спальню, нырни под одеяло, замри, прильнув своей шелковой головкой к моему горячему плечу, и укуси меня больно-больно, но не до смерти – мне еще многое надо успеть сделать в этой жизни». Но он обманывал себя, равно как и ее, и отца, всех. Марта волновала его. И если отец сейчас уйдет на пляж, она снова заберется

к нему в постель и собьет простыни в большой солнечный ком, пропитанный запахом ее духов, мыла и кофе, который, служа верным предлогом для ее прихода, непременно разольется по тумбочке и зальет лежащую на ней пачку сигарет.

Марта Миллер родилась на двадцать лет позже отца Мити. Сыграв после театрального училища несколько заметных ролей в местном драмтеатре, она как-то летом на пикнике наступила на ржавый гвоздь и угодила в больницу с заражением крови, ей сделали операцию на пятке, после чего она и стала прихрамывать. Понимая, что теперь не сможет играть на сцене, Марта устроилась костюмершей в свой же театр – благо шить она умела, – где ее и увидел Сергей Петрович Дождев. Шел спектакль, он сидел в партере позади нее и все первое действие разглядывал ее красивый затылок и округлые плечи. В антракте он пригласил Марту в буфет, угостил пирожными с розовым кремом и лимонадом. Потом они покурили у нее в костюмерной и, выключив свет, познакомились поближе. Через неделю Дождев пришел домой, собрал чемодан и, сказав сыну, что переезжает к Марте и что Митя может смело занимать и его комнату – его мать сбежала из дома к скрипачу симфонического оркестра, – ушел. Дмитрий остался один в просторной трехкомнатной квартире, которую друзья называли мастерской. Все холодное время года Митя проводил там, практически не выходя из дома. Квартира была теплая, в ней было много диванчиков, кресел и просто удобных тихих уголков с подушками и пледами, куда можно было зарыться и уснуть.

– Я зимой не живу, а существую, – объяснял скучным голосом Митя свое сонливое состояние натурщицам, которые пестрыми бабочками вились вокруг него, требуя за трехчасовую неподвижность любви или хотя бы ласки.

В большинстве своем это были молоденькие балерины из хореографического училища – тоненькие, стройные, с гладко зачесанными волосами, свежими лицами, но порочными взглядами. С ними было легко, они все понимали и, порой разглядев на лице Мити выражение отрешенности, старались не надоедать ему своими визитами. Сложнее было с Мартой. Увидев Митю впервые на дне рождения Сергея Петровича, она весь вечер не спускала с него глаз. Очень сексуальная, одетая в зеленый креп изящная хромоножка пила одну рюмку за другой, не отрывая взгляда от молчаливого темноглазого пасынка. Она подкладывала ему салаты, а когда начались танцы, старалась быть поближе, чтобы прикоснуться к нему, почувствовать, убедиться, что он ей не пригрезился, что это нежное, но в то же время мужественное существо имеет плоть, что его свитер колюч, а волосы пахнут лимоном. Сергей Петрович радовался такому вниманию своей Марточки к Дмитрию и улыбался, меланхолично разглядывая прозрачное луковое кольцо на вилке.

– Я рад, Митя, что ты пришел.

Марта стала приходить в мастерскую, приносить котлеты, домашнюю икру и варенье. Она молча прибирала, мыла полы, чистила раковины от красок, заставляла Митю вовремя замачивать кисти, а иногда ходила для него в салон за белилами или охрой. Она двигалась по дому быстро и тихо, стараясь не быть навязчивой, и постепенно сделала так, что Митя сам уже хотел, чтобы она заглянула именно в ту комнату, где стоял мольберт. Он не мог при ней работать, сидел перед холстом, пока перед глазами не начинал идти цветной дождь, тогда он закрывал глаза и представлял себе Марту голой. Он видел ее театральные фотографии, и ему было жаль бедняжку. Быть может, тогда, накануне Женского мартовского дня, он просто пожалел ее? Шел дождь, Митя сидел с закрытыми глазами перед чистым холстом, а Марта жарила курицу на кухне. Он открыл глаза и вдруг увидел ее. Она стояла, прислонившись к дверному косяку и подогнув короткую ножку, по-зимнему белая, с розовато-перламутровым оттенком, хрупкая, плечи закутаны в русые кудри, а глаза ничего не видят, ничего.

– Подойди ко мне, – сказала она.

Он подошел и обнял.

– У тебя плечи холодные... и колени.

Когда она ушла, он нарисовал углем совокупляющуюся пару. Марта не успокоила его. Хотя она была и умной, и чувственной. Он и хотел, чтобы она пришла еще раз, и боялся этого. А вечером того же дня заглянул отец. Принес немного денег и спросил, не приходила ли Марта.

– Приходила.

– Она не мешает тебе?

– Она приготовила курицу.

– Мама не звонила?

– Звонила. Она будет сопровождать Глеба в Австрию.

– Я соскучился по ней.

Сергей Петрович сидел в прихожей на потертом бархатном пуфе и качал головой. Плащ его совсем промок, со шляпы, которую он держал большими белыми руками, текло, бледное его лицо было озабочено: он вечно находился в поисках денег, поскольку хлеб настройщику приходится добывать, мотаясь по всему городу.

– Марта молчит, но я-то знаю, что она дуется на меня, – хочет купить три метра шифона, а денег нет. Хотел у Лизы занять, а она, ты говоришь, в Австрию уезжает.

Митя представил себе, как его мать протягивает отцу деньги на шифон для Марты. Эти странные, на его взгляд, отношения между ними всегда удивляли его. А его собственные отношения с Мартой разве не странны и удивительны?

Она не приходила весь март. Дмитрий за то время – благо ему не мешали – успел сделать пятьдесят рисунков углем. На всех были изображены двое: он и Марта. Они меняли позы, двигались как им заблагорассудится. Марта и он жили в них своей прозрачной черно-белой жизнью. У Марты постепенно изменялись прическа, линия носа и губ, потом в волосах появилось несколько оранжевых прядей, которые изо дня в день становились все более рыжими, она успела похудеть за месяц непрерывных занятий любовью. На последнем рисунке был уже только он, от женщины, которая страстно обнимала его все эти дождливые дни, остался лишь золотой ореол. *Он* поглотил ее. И вот тогда пришла Марта. Дмитрий не показал ей рисунки, он надежно спрятал их в папку и крепко завязал тесьмой.

– Надо бы повторить тушью, – задумчиво и отрешенно сказал он, увидев ее на пороге.

– Ты это о чем?

Она стояла перед ним в черном платье с фиолетовой косынкой на шее, волосы собраны на затылке, глаза – черное в лиловом – блестят, пахнет от нее молодой тополиной липкостью и мокрой травой.

– Ни о чем, – ответил он и понял вдруг, что наконец наступило долгожданное тепло. – Вы на дачу?

Он почувствовал себя маленьким мальчиком, которому наскучили школьные занятия и зимняя скука, и он ждет, что его возьмут с собой на дачу.

– На дачу. – Марта обняла его и коснулась своими прохладными губами его лица.

Дачный поселок довольно долго томился без зелени, все готовился, очищался, дымился прошлогодними листьями, и к началу мая словно чья-то невидимая рука густо вымазала низ древесных стволов белым. Вслед зазеленели ветки, закипела бело-розовая пена в садах, зажужжали черно-желтые бархатные пчелы.

Отец упорно продолжал топить камин, часто кипятил чайник и беспрестанно пил чай с молодой мятой. Марта слушала музыку по приемнику, мыла окна, строчила на старой зингеровской машинке желтые шторы на окна, перекрашивала рамы на веранде и двери в голубовато-белый цвет. Митя от этих весенних приготовлений просто пьянел, ходил на речку, подолгу смотрел на противоположный берег и хотел все увиденное вместе с запахами, блеском синей холодной речной воды, пухлыми облаками, холмами, покрытыми зелено-желтой шерстью и

вишнево-яблоневыми цветами, увезти к себе на Семиреченскую, в мастерскую, чтобы весь будущий год дышать этой весной, этой целительной сыростью и сладостью.

Красок было мало, денег тоже. Это угнетало и заставляло время от времени звонить в город матери, но длинные гудки в трубке убивали последнюю надежду.

Взвалив на спину этюдник, Митя уходил далеко от поселка, располагался на возвышенности и писал. Он во время таинства, которое простые люди зовут работой, не ощущал ни голода, ни начинающегося дождя, ни солнцепека. Ему казалось, что он впитывает в себя все – все краски, которые заключает в себе молочно-дымный туман, окутывающий сосны и берега, золотой горячий луч солнца, пронизывающий воду до самого дна, рыжий плес и даже стаю диких гусей.

Однажды там его нашла Марта. Она принесла ему поесть, и он ослабел, снова превратившись в нормального человека, который любит и утреннее молоко, которое Марта покупала в соседней деревне Кукушкино, и оладьи, и зеленый лук с ржаным хлебом. Он насытился и некоторое время лежал на траве, глядя в небо. Уснул, а проснулся от жгучего наслаждения, он был не мужчиной в то мгновение, а больше – рабовладельцем, и женщина услаждала его так неистово, с такой страстью и рвением, словно, не делай она этого, он прикажет убить ее. Так можно любить, только когда нависает смерть. И он испугался, вскочил с земли разгоряченный, стыдливо прикрываясь руками, а Марта, подняв голову со спутанными волосами, темно-красными щеками и пьяным взглядом лиловых глаз, вдруг расплакалась. День был испорчен. Пейзаж – смазан. Она ушла, быстро удаляясь по тропинке и унося, как сосуд с драгоценной влагой, свою нерастратченную, болезненную и страшную любовь.

И сразу же вдруг сделалось темно, крупные, с вишню, капли упали на свежие краски на холсте. Митя едва успел собраться и пробежать несколько шагов, как с неба хлынула дождевая река, теплая и мощная. Прогредел гром, потом еще и еще. Митя забежал под крону старого дуба, весь вымокший, потерявший дар речи от всего, что произошло с ним в последние четверть часа. Через какое-то время он пришел в себя и увидел синий густой дождь – шумный водопад, сквозь прозрачную сеть которого просматривался сиренево-зеленый луг, на нем три белые козочки и старуха в черном капюшоне, сидящая на табурете и делающая вид, что не замечает дождя. Неожиданно под дуб забежала девушка в натянутой на голову кофте и двое маленьких детей в грязно-белых штанишках и рубашках. Мальчику было года три, девочке и того меньше. Девушка повернула к Мите свое лицо, стащила с головы кофту и трянула не успевшими промокнуть густыми рыжими волосами. На фоне мокрой листвы, в этой зеленой влажной тени дуба белое лицо ее с большими темными глазами и полуоткрытым темно-красным ртом было похоже на иконописный лик. Девушка была в желтом сарафане, сквозь вязаную кофту просвечивало нежное белое тело. Дождь как-то неожиданно прекратился, девушка подхватила на руки девочку, взяла за ладошку мальчика и, улыбнувшись Мите и пробормотав: «Нам пора», выбежала из укрытия и растворилась в мокрой зелени ивовых зарослей. Митя вышел на луг, огляделся: ни девушки, ни детей. Может, их и не было? А может, они спустились с небес? Как странно. А как же крохотная коричневая родинка над верхней губой незнакомки? Неужели тоже померещилось?

Выглянуло солнце, Митя побрел к дачному поселку.

Отец ушел на пляж, и Марта принесла Мите чашку кофе. Села рядом на постели, такая милая, теплая, родная, как мать, и погладила его по голове.

– Ты опять пойдешь сегодня?

– Пойду. Погода-то какая, Марта, ты только посмотри!

Он потянулся, она провела рукой по его груди и ниже, вздохнула. Они посмотрели друг на друга, и Митя в ответ на зовущий взгляд, не в силах совладать со своей неуправляемой мужской силой, опрокинул Марту, распахнул тоненький розовый халатик и, как щенок, истос-

ковавшийся по теплоте животу своей матери, стал тереться о нее, постанывая, и, как в намагниченном туннеле, сначала взвился над ней, а потом, рыча и покусывая ее плечи и шею, задвигался, то приближаясь, то отдаляясь от цели, ввинчиваясь в еще не до конца изведанный им мир, состоящий из великого множества складочек, лепестков, цветов, сока, волос и возбуждающих его звуков. Так продолжалось до тех пор, пока он не почувствовал, что сейчас умрет, что дальше двигаться некуда, что это тупик, дальше которого он, утомленный, не проникнет, что он может только расплакаться и оросить слезами лоно женщины, которая заменила ему мать. От этой мысли он вздрогнул, как если бы она была материальной, и, тяжело дыша, откинулся на подушку. Женщина не шевелилась. «Уж не убил ли я ее?» Он резко поднялся, но, увидев, что Марта дышит, впервые снизошел до ласки: он нежно провел ладонью по ее плечу и коснулся губами ее губ.

Потом пришел отец, сели завтракать. Марта выглядела утомленной. А когда Митя вечером вернулся с этюдов, она подошла к нему в саду и сказала, глядя мимо его глаз, в пространство:

– Ты бесчувственный. Я тебя ненавижу. – И вечерней электричкой уехала в город.

Миша Хорн, сын известного в городе, а теперь уехавшего в Израиль дантиста, Исаака Хорна, занимался недвижимостью. У него была контора в центре города, большая квартира, белый «Форд», загородный дом и прочие необходимые для человека, занимающего такое положение в обществе, атрибуты внешнего благосостояния, которые, однако, не приносили ему счастья. Он влюбился в Машеньку Руфинову, дочку управляющего банком «Дрофа», услугами которого пользовался и по этой причине был принят в круг знакомых Бориса Львовича Руфинова. Но их общение ограничивалось встречами в банке, на презентациях и прочих светско-деловых сборищах. С Машенькой же он получил возможность побеседовать лишь на открытии «Русского ресторана». Руфинов привез туда дочь, чтобы это оранжерейное, лишенное общения со сверстниками дитя могло воочию убедиться в том, что вечер, проведенный в обществе умной и душевной Анны, куда полезнее и безопаснее, чем эта деловая пьянка. Но Маша уже настроилась и объявила родителям, что, если они ее и на этот раз не возьмут с собой, она сбежит через окно, пусть ей придется ради этого даже рискнуть своей жизнью.

Она оканчивала музыкальное училище по классу фортепиано и всякий раз испытывала чувство неловкости оттого, что на занятия ее привозит телохранитель отца Матвей и в условленное время забирает. У Маши не было возможности даже зайти с однокурсницами в кафе, чтобы спокойно выпить чашку кофе и съесть пирожное, – всюду ее находил Матвей и только одним бесстрастным профессиональным взглядом телохранителя, словно магнитом, вытягивал ее из кафе или магазина.

– Ты скажи, и я куплю тебе хоть сотню пирожных, – говорил он, увозя Машу на черном «Мерседесе» домой.

Она сжимала маленькие кулачки, вся напрягалась и едва сдерживала себя, чтобы не заплакать. За окнами мелькали весенние улицы, заполненные цветной массой улыбающихся и радующихся весне людей, проплывали распусившиеся по-детски молочно-нежной листвой каштаны и тополя.

Дома Машу уже ждала мама. Ольга Руфиновна, в прошлом физик, ныне дама, известная в городе своей благотворительностью и кое-какими политическими начинаниями, смирилась с тем, что ее муж не собирается уезжать из страны – хотя десять лет назад у них были визы и билеты в Германию, – но с условием, что он не будет вмешиваться в воспитание дочери, а гарантирует финансовую поддержку и хотя бы видимое понимание.

– Я создам государство в государстве, – объявила Ольга и сформулировала Руфинову философскую концепцию своей цели: – Я хочу оградить Машу от всего того, что окружает ее сверстников в это ужасное время. Эта плесень не должна касаться ее. Школа и дом – вот и все,

что ей нужно, чтобы она нормально развивалась, пока не сформируется как личность. Пусть это будет немного походить на тюрьму, но это все же лучше, чем потерять дочь. Я не хочу, чтобы она целовалась с каким-нибудь прыщавым недоумком, играющим на фаготе или трубе, – имелись в виду однокурсники в музыкальном училище, – пусть подрастет, а там видно будет.

Но Маша уже выросла, ей уже исполнилось двадцать лет, и Руфинов, не выдержав, вмешался в ход событий.

– Она имеет право видеть мир, в котором живет. Это дома ты устроила рай для нее, а если с нами что-нибудь случится – не дай бог, конечно, – как она будет жить, ты подумала?

Напудренный нос Ольги порозовел, землянично-влажные губы задрожали, она поняла, что муж в какой-то степени прав, но время-то было уже упущено. И вот тогда начались для Машеньки волшебные, полные тайн и разнообразных впечатлений выходы в свет, которые мать называла выходами во тьму. Мир презентаций и приемов, участие в благотворительных акциях, где Маше было позволено разносить по столикам гороховый суп и кашу с котлетами для одиноких стариков и старух, – все это внесло в Машино представление о взрослой жизни элемент значимости и серьезности. Но все же этого ей было мало, хотелось свободы в перемещениях, во встречах, в знакомствах. Но тут началась весна, Маша неожиданно подхватила воспаление легких. Ее лечили в хорошей клинике, которая, однако, своей стерильностью и обилием лекарств и уколов лишь усугубила болезненно-угнетенное состояние Маши, хотя заболевания как такового уже и не было. И тогда ее повезли на дачу, в Кукушкино. Там было много солнца, зелени, свежего воздуха и птиц. Там возродился румянец, улучшился аппетит, Маша могла целыми днями нежиться на солнце – плетеное кресло выставлялось на крыльцо, – пить парное молоко, дышать ароматом розовых и желтых цветов, которые нежным ковром расстилались у нее под ногами. Анна, родственница отца, которая уже несколько лет жила у Руфиновых и занималась воспитанием Маши, сопровождала ее на прогулках по лесу и лугам. Анна была начитанной и умной женщиной, но почему-то раздражала Машу. Уж слишком любила она порядок, слишком часто мылась в душе, слишком чистыми и белыми были ее блузки, слишком туго были затянуты в хвост ее черные блестящие волосы, слишком хорошо поставленным был ее слегка гортанный и сухой голос – все слишком. Она вставала по будильнику, все делала по расписанию, постоянно ровным голосом одергивала непоседливую и увлекающуюся Машу, заставляя заниматься. Анна присутствовала всюду, начиная с гимнастики и душа – чем особенно раздражала стыдливую Машу – и кончая упражнениями на фортепиано. Она навязывала ей свои вкусы в литературе, принося неизвестно откуда – но скорее всего из дома, ведь не может же такая женщина, как Анна, жить без собственного дома – книги по философии, истории искусств и литературе почему-то в большинстве своем немецких авторов. Маша усваивала все быстро, какой-то сложный механизм работал в ее рыжеволосой голове, и блоки густого типографского текста просто проглатывались девушкой, но до сердца доходили лишь старинные романы о любви, о рыцарях Грааля, о чудовищах и прекрасных воительницах, о Тристане и Изольде, Квентине Дорварде и Айвенго. Потрепанный сиреневатый томик Шарля Нодье, которым зачитывалась Маша, Анна спрятала в шкаф под аккуратно сложенные наволочки и полотенца, но Маша нашла ее и обиделась. А вечером, когда они вдвоем после ужина пили чай на веранде, она достала книгу и, преспокойно шелестя страницами, демонстративно вздохнула, как если бы ее занимала особенно пряная деталь текста.

– Непотребное чтиво, Маша, – сказала Анна и выпрямила и без того прямую, как строительный отвес, тонкую спину, потянувшись всем своим стройным телом в полосатом черном красном халате и повторила фразу, делая ударение на первом слове.

– А для меня потребное, очень даже потребное. – Маша бухнула в чашку сразу несколько кусков сахара и утопила на дне бокала две крупные клубники. – Вы бы шли спать, Анна Владимировна, уже поздно.

Когда вечер в «Русском ресторане» подходил к концу, когда сытые и пьяненькие гости пили поднесенное им на расписных подносах девушками в русских народных сарафанах кофе с конфетами и ели фрукты, вот тогда Хорн осмелел и, зная о том, что Руфинов запрещает дочери с кем-либо разговаривать, а тем более танцевать, подошел к их столику и, обращаясь к Борису Львовичу, произнес собранную им тщательно, словно миниатюрная мозаика, фразу:

– Вы позволите пригласить вашу дочь потанцевать?

Миша, весь вечер внимательно наблюдавший за Руфиновым, дождался-таки момента, когда Борис Львович, первые два часа напряженный от показного гостеприимства – гости знали, что именно Руфинов является негласным хозяином ресторана, – наконец расслабился, выпил шампанского с женой, тоже, кстати, уставшей за вечер, и все внимание обратил на откровенно скущую дочь. Маша действительно сначала пыталась рассмотреть проходящих людей, но постепенно вся эта разряженная колышущаяся масса расселась за столы, начали взлетать вверх пробки от шампанского, запахло салатами и горячим мясом, зазвучал плохого качества джаз, погасили лампы, и малиновый свет прожекторов начал выхватывать из толпы танцующих парочки – вот тогда и стало нестерпимо скучно.

– Ну, что я тебе говорила? – спросила Ольга, промокая салфеткой выступивший на лбу пот.

Еще недавно такая свежая, энергичная, соблазнительная в сине-голубом шифоновом платье, Ольга, опустившись на стул рядом с Машей, теперь походила на помятый цветок ириса. От нее даже пахло ирисом. Маша не успела ответить – подошел Хорн. Руфинов, прожевав маринованный гриб, улыбнулся:

– А, Миша, присаживайся! Как тебе все это? – Он повел рукой в клубящемся от табачного дыма пространстве. – Как ресторан?

Миша онемел. До него вдруг дошло, что он осмелился подойти к самому Руфинову, и он неловко замер в растерянности, пока наконец не нашелся, что ответить:

– Ресторан богатый, что и говорить.

Между тем Руфинов, подцепив вилкой следующий коричнево-черный блестящий гриб, снова улыбнулся Хорну, как старому знакомому, и выразительно кивнул в знак согласия. Затрепетали шифоновые оборки на платье Ольги, она вдруг встала из-за столика и направилась к спешащей к ней женщине в черном платье.

– Маша, потанцуй с Мишей. Как Исаак Самуилович, пишет?

У Хорна отлегло:

– Пишет.

Маша между тем, неслышно икнув, одернула маленькое красное платье, повела плечами, словно расправляя их специально для Хорна, и, позволив ему взять в прохладную и сухую руку свою горячую ладонь, послушно пошла за ним. Чувствуя под рукой теплый шелк платья на ее спине, пушистое касание ее золотых в малиновых бликах волос на своей щеке, Хорн осознавал, что то, что сейчас с ним происходит, как оказалось, не имеет ничего общего с тем платоническим обожанием, которое он сам себе придумал. Он испытал сильное и жгучее наслаждение сладострастника, выплескивающего свой терпкий яд в ранку еще ничего не почувствовавшей жертвы.

Если бы некий проницательный и очень внимательный человек, наблюдавший за ним еще час назад, спросил его: «Миша, что ты от нее хочешь?» – он бы даже не знал, что ответить.

Ему хотелось ее иметь, но не в том смысле, в каком хочет иметь мужчина женщину, а иметь вообще, насовсем, на всю жизнь. «Мне достаточно просто видеть ее, но постоянно. Я хочу смотреть, как она ест, как ходит в домашней одежде по квартире, как намазывает масло на хлеб, как играет с кошкой или щенком, как нюхает цветы, как хмурит лоб, читая книгу, как смеется над Ришаром, как моет свои длинные ослепительные оранжевые волосы, как стоит голенькая в ванне и намыливает розовым мылом свое нежное тело». Ему хотелось быть неви-

димым, чтобы иметь возможность забраться к ней в спальню, сесть на краешек ее постели и подсмотреть ее чистые, полные тайн и вопросов сны.

Что бы сказал, интересно, отец, если бы Миша признался ему в своих чувствах к Маше? Он бы посоветовал украсть ее и привезти в Тель-Авив. «Мы прокормим эту девочку». Да, отец говорил именно так, когда Миша собрался жениться на Гере. Они прожили чуть больше месяца, и Миша ушел от нее. Гера – очень красивая брюнетка с белой кожей и сине-зелеными глазами. Как-то раз Мише позвонили в офис и сказали, что она встречается с художником Дождевым в его мастерской. Он, бросив все дела, поехал по адресу и столкнулся с Герой на лестнице у квартиры художника.

– Что ты здесь делаешь?

– Была у знакомого художника, а что?

Он оттолкнул ее – неслыханное дело! – и позвонил в названную ему по телефону квартиру. Гера тем временем стремительно спускалась вниз, дробь ее каблучков больно отзывалась у Миши в голове.

Дверь открыл голый молодой мужчина и со словами: «Гера, детка, ты что-то забы...» – онемел. С мокрой головой и полотенцем в руках, он впустил в квартиру Хорна. Квартира была огромная, захламленная, в ней пахло дымом сигарет, водкой, потом, мылом – словом, всем, чем угодно, только не красками, как пахнет обычно в мастерских. В дальней комнате, на широкой постели, он нашел еще одного голого парня, который, увидев в дверях взбешенного побелевшего Хорна, даже не пошевелился для того, чтобы прикрыть свою отвратительную наготу. Не надо было обладать буйной фантазией, чтобы представить, как эти двое забавлялись с Герой. Картина, возникающая в воображении Миши, представляла собой фрагмент яростного процесса совокупления двух поросших обезьяньей шерстью молодых мужчин с очень белой, словно присыпанной пудрой, черноволосой женщиной, извивающейся в угоду их неутомимой плоти, скользкой в горячих устьях, подаренных им Герой. Хорн даже слышал сухие, шершавые звуки, сопровождающиеся неестественно учащенным тройным, почти в унисон, дыханием на фоне маслянисто-механических вакуумных ударов. Далее чья-то услужливая невидимая рука воображения повела его в ванную комнату, где эти трое мылись, похихатывая над резвостью Геры, пускающей пузыри припухшими, потемневшими, искусанными губами; четыре мохнатые руки скользили по ее гибкому, в мыльной пене, хрупкому телу, которое, не успев остыть от зуда желания, вновь было готово продолжить изнуряющие и сложные игры проникновения в ее женскую, животную – в этом Хорн уже не сомневался – сердцевину. Потом они ее, наверно, одевали, как беспомощную, уставшую от забав девочку, заполняя ее ослабевшими тонкими ногами прозрачное пространство чулок, застегивая на ней крючочки, пуговички, шлепая туго натянутыми резинками по ее талии и расправляя на ней мягкие складки шерстяного костюма, а затем выпроводили ее наконец на лестницу, прямо в зубы озверевшему Хорну.

Миша хотел спросить, кто же из них Дождь, но подумал, что теперь это уже не имеет никакого значения. Первым его желанием, после того как он оставил эту страшную, пропитанную дурными запахами квартиру, было убить Геру. Но уже к вечеру это прошло. Он убрал в чемоданы ее вещи и отвез их к ней на квартиру, ничего не объяснив и даже не посмотрев ей в глаза. А пустоту и горечь, облаченные в неприязнь к женщинам в целом, Хорн растворил в работе, постепенно вытравляя Геру из своей жизни. Но самое удивительное заключалось в том, что после происшедшего Хорн, словно влекомый ароматом синтетического мазохизма, стал ходить на все художественные выставки, чтобы увидеть картины Дождя. Мазохизм в том же смысле, что и боль, которую, как любой нормальный человек, должен был чувствовать любовник Мишиной жены, заключивший Геру в деревянную рамку портрета – а Миша был уверен, что Дождь запечатлел его жену именно в момент захлебывающейся страсти, – должна была принести какое-то успокоение. Это было сложное чувство, замешенное на неуверенности в себе, в котором не так уж и просто себе признаться, и, конечно, на ревности в ее чистом

виде. Тем более что услужливая память подсказала ему, что, кажется, кто-то из его окружения уже говорил ему в свое время, а он просто в силу занятости не обратил на это внимания, что Дождев – талантливый художник, больше того – его картины очень ценятся и стоят немалых денег. Однако, гуляя по выставочным залам музеев и выискивая взглядом на картинах прежде всего подпись автора, фамилию Дождева Хорн так и не встретил. Дождев не выставлялся, а это означало: либо Хорн что-то спутал, либо художник зелен, неопытен, а может, и вовсе бездарен.

Танец закончился, Маша, чтобы как-то заполнить тишину, вдруг неожиданно для себя сказала:

– Завтра у меня в училище концерт, в пять. Я буду играть Шопена, мне нужно, чтобы в зале присутствовал кто-то не из своих, вы меня понимаете? Придете?

Хорн притянул ее ладошку-лапку к своим губам и торжественно пообещал прийти. Маша позволила ему поцеловать ее руку, после чего Миша вернул девушку родителям. Когда он, попрощавшись с ней благодарным взглядом, отошел от столика, Маша сказала матери:

– Я пригласила Мишу завтра на концерт.

Руфинов, услышав это, пожал плечами:

– Он хороший парень, толковый. С ним я бы мог отпускать тебя хоть куда, если он тебе, конечно, нравится.

Ольга, внимательно выслушав мужа, хмыкнула:

– Но ведь он же скоро уедет вслед за отцом. Вот увидишь.

– Мама, ну не замуж ведь я собралась, что ж ты меня пасешь, как козу?!

Мама приехала неожиданно. Она всегда появлялась неожиданно и вносила в их размеренный ритм жизни некую праздную суету, беспорядок, который радует, но в то же время настораживает: что она выкинет на этот раз? То, что она могла свободно появиться где угодно, даже в квартире Марты, уже не удивляло. Удивительны были темы ее разговоров, ее идеи, планы. Лиза Дождева, в девичестве Лайфер, никогда и нигде не работала. Она считала, что ее предназначение – быть рядом с мужчиной, который, разумеется, должен ее содержать. С ней никто не спорил, поскольку это была бы пустая трата времени и нервов. Профессиональная бездельница, она действительно была создана для того, чтобы *сопровождать мужчину*. До замужества она «сопровождала» многих талантливых людей города: главного архитектора, писателя Страшнова, композитора Орехова и других. Они водили ее в рестораны, на вечеринки, в театр, консерваторию и другие людные места, где Лиза могла показать себя, свое очередное вечернее платье и своего очередного мужчину. Почему она вышла замуж за Дождева, никто не знал. Даже сам Дождев. Просто встретились в филармонии, познакомились, оказались вместе на банкете в честь какой-то знаменитости, а потом Дождев сделал ей предложение. И, к обоюдной радости, оказалось, что Лиза – превосходная жена, заботливая, нежная и очень чувствительная. Неумная натура, она постоянно придумывала какие-то домашние праздники, на которые приглашала своих бывших любовников – Дождев подозревал, что и настоящих, – подруг, просто интересных людей, и была очень похожа в этом на героиню чеховской «Попрыгуньи».

Когда Дождев понял, что никакой скрипач из него не получится и что настраивать инструменты – единственный приемлемый для него способ зарабатывать на жизнь, он очень боялся, что Лиза бросит его. Но этого не произошло. Общительная и очень энергичная, Лиза стала находить ему клиентуру, причем в таких количествах, что бедный Сергей Петрович иногда приходил домой затемно. Зато в доме всегда были деньги, а это вселяло в молодого мужчину чувство уверенности. Когда родился Митя, Лиза, не желая изменять своим привычкам, быстро нашла ему недорогую няню, и все проблемы, связанные с маленьким ребенком, были враз решены. Она не обращала внимания на явное осуждение ее поступка подругами, пытаясь

внушить им при случае, что многие семьи распадаются как раз по причине бытовой неустроенности и невнимательного отношения жены к мужу.

– Маленькие дети все равно ничего не понимают. Они, как щенки, пьют молоко и знают себе спят и растут. А вот когда подрастут, то по-настоящему оценят, как их все любили, любят и будут любить до самой смерти, ведь климат в семье – это самое главное.

Когда Лиза поняла, что Митя вырос и самое его большое желание – рисовать, она категорически сказала:

– Нет! Мужчина должен зарабатывать не кистью, а мозгами и талантом.

– Лиза, а что, если он талантлив?

– Художник – это ремесленник, а я не хочу, чтобы мой сын занимался этим грязным ремеслом. Это же тонны краски, угля, бумаги, растворителей разных, это вонь и вообще бесперспективно!

Она прятала от маленького Мити краски, бумагу и выдавала ровно столько, сколько требовалось для занятий рисованием в школе. Но Митя начинал рисовать зубной пастой по стеклу, мелом на дверях, на полу. Казалось, он делал это инстинктивно.

Однажды, под Новый год, когда Мите было уже тринадцать лет, в дверь позвонили. Все были дома. Сергей Петрович пошел открывать. Вернулся он с огромной деревянной коробкой с металлическими трубками, поставил тяжесть на пол и пожал в растерянности плечами.

– Что это? – задыхаясь, проговорила Лиза, и ноздри ее маленького розового носика стали раздуваться, а из горла вырвалось нечто похожее на сдавленный вскрик. – Это ты? Скажи, это ты, Дождев, принес? – Она ткнула Сергея Петровича пальцем в грудь и приблизила к нему свое пылающее ненавистью лицо.

– Я открыл, там это стояло.

Он всегда оправдывался и имел при этом жалкий вид. Но Митя, который в подобных обстоятельствах всегда защищал отца одним взглядом, сообщавшим, что он на его стороне, что они союзники, на этот раз схватил подарок и от счастья не мог вымолвить ни слова. Он-то знал, что это такое, что это *этюдник*, настоящий, большой, новый и прекрасный. От него сладко пахло деревом и лаком, сразу же захотелось куда-нибудь с ним уйти, где красиво, светло, и тотчас отразить все это на бумаге, холсте, на чем угодно. Ему, в его жизни, полной фантазий и нерастраченной энергии, так не хватало этюдника, что только спустя несколько дней он догадался, кто же ему принес это чудо, он подошел к отцу и обнял его.

Зато после этого в семье начались скандалы. Беспричинные, тяжелые, со слезами и надрывом. Лиза ходила по дому в халате, придиралась ко всему, много спала, смотрела все подряд по телевизору, перестала приглашать гостей и ни к кому не ходила сама. Что-то с ней случилось. Она ушла из супружеской спальни и устроила себе спальное место – иначе не назовешь – в большой комнате на кожаном диване, оставшемся ей в наследство от отца вместе с квартирой и прочей мебелью. Теперь она мыла голову один раз в неделю – хотя раньше мыла каждый день и убеждала всех при этом, что от этого волосы растут быстрее, – отчего ее густые светлые волосы приобрели тусклый оттенок, она безжалостно затягивала их в тугий узел на затылке, словно всем своим видом хотела сказать: «Знаете, а мне все равно».

Она, опять же беспричинно, рассорилась со многими своими подругами, скорее всего из желания не видеть рядом с собой злорадствующих свидетельниц своей длительной депрессии, причину которой знала она одна и ни с кем не желала этим делиться. Она, неглупая, в сущности, женщина, прекрасно понимала, что все то время, когда ей было хорошо и покойно на душе, воспринималось подругами не иначе как вызов женщины, живущей не по общепринятым правилам. Да, она не давилась в городском транспорте, чтобы добраться до обязательной в нашем государстве работы и, отработав восемь часов, за которые успеешь поскандальить с начальством, выслушать и проглотить едкий ком оскорблений от сотрудников – в особенности от сотрудниц, – потом возвращаться в переполненном автобусе или трамвае под прицелом

чужого локтя. Поэтому теперь *их* очередь. Словом, Лиза находила бесконечные причины и предлоги, пока приятельницы не оставили ее в покое совсем, и погрузилась в такую глубокую смурь, из которой ее могло вытянуть лишь нечто из ряда вон выходящее. И таким «из ряда вон» явилось письмо, голубой конверт с разноцветными марками, который она в присутствии сына – мужа дома не было – распечатала и прочитала. Митя заметил, как стало меняться выражение ее лица, она даже порозовела, уселась поудобнее на диван и перечитала письмо еще несколько раз, издавая тихие радостные стоны. Глаза ее повлажнили, и Митя, от которого она не могла скрыть своей радости, понял, что произошло что-то очень важное, и смутно почувствовал надвигающиеся перемены. С того дня Лиза стала непредсказуемой. Первое, что она сделала, это пошла этим же вечером в парикмахерскую и привела в порядок волосы. Старый заношенный халат, который Сергей Петрович в шутку называл «обломовским», она выбросила в мусоропровод, туда же улетели рваные чулки, стоптанные домашние тапки, два ситцевых фартука и зеленая, как мертвый детеныш крокодила, мочалка, а также прозрачные, как застывшие вытянутые мыльные пузыри, бутылки из-под кока-колы и минеральной воды – словом, все то, что копилось эти два года и ждало этого символического полета, означавшего начало новой эры в их семейной жизни. Лиза сожгла все старые книги, журналы, газеты, побелила потолки, пригласила мастеров, которые оклеили обоями все стены, купила рыжий, под паркет, линолеум и как ни в чем не бывало вернулась в супружескую постель.

Она наметила культурную программу, подружилась с распространительницей билетов – бесцветной, похожей на престарелую Жанну д'Арк особой, – привела Митю в магазин-салон, где купила ему столько красок, угля, темперы и прочего цветного богатства, сколько он смог унести, и стала вновь радоваться жизни.

Отец с сыном избегали, даже оставаясь дома вдвоем, обсуждать эту тему – резкую перемену, произошедшую с матерью. Они были безмерно счастливы, хотя один и тот же вопрос зависал в воздухе, как упорно вывязываемая пауком на излюбленном месте паутина: откуда деньги? Дождев, потерявший большую часть клиентуры, которую составляло окружение жены, явно страдал из-за отсутствия денег, а спросить жену прямо, в лоб, не мог. Боялся чего-то. Он теперь каждую ночь обладал молчаливой и покорной женщиной, неутомимой и страстной, таинственной и ускользающей, и теперь, быть может, просто боялся снова ее потерять?

Он размышлял: «Любовник?» Митя говорил, что мама весь день дома, ей даже никто не звонит, а если она куда и выходит, то на рынок или в булочную, отсутствует недолго, да и полные сумки говорят сами за себя. К тому же – и Дождев знал это на собственном опыте, – когда у Лизы появлялся любовник, она не позволяла ему даже прикасаться к себе, ссылаясь на недомогания и находя тысячи отговорок. Лизу, однако, в городе знали и рано или поздно ее увидели бы с кем-нибудь на улице и непременно доложили бы мужу. Значит, что-то другое. Но Лиза явно сорила деньгами, источник которых так и остался окутанным туманом. Лиза молчала и, казалось, даже забавлялась неведением домашних. Митя очень любил мать, но пришел к выводу, что жить с такой женщиной, как она, он бы не смог, поэтому жалел отца и поклялся себе никогда не жениться.

Однажды Лиза не пришла домой. Не было ее и на следующий день. Сергей Петрович сидел на кухне, смотрел в окно на проезжающие машины и ждал. Он ждал долго. Пока не пришло письмо. Голубое, с разноцветными марками. Из Австрии. Лиза ничего не объясняла, сообщила только, что ей захотелось на время сменить обстановку, что скоро к ним придет человек и принесет деньги. «Я скоро приеду». Но ее не было четыре года. Она регулярно писала письма, говорила, что скучает, но приехать пока не может, «так получилось». Конечно, здесь уже явно был замешан мужчина.

– Она сошла с ума, – говорил Сергей Петрович.

Деньги приносил мужчина средних лет. Митя видел этого мужчину в консерватории, а потом на концерте в филармонии, он играл на флейте. За эти годы Митя успел закончить худо-

жественное училище. Дождев пытался познакомиться с женщинами, чтобы понять, почему его, еще не старого и довольно симпатичного мужчину, бросили. Результат его встреч с женщинами был приблизительно одинаков: одно свидание, а за ним добровольный домашний арест. Митя понимал, что после свиданий отец просто избегает дам, с которыми встречался. Постоянное сравнение, очевидно, лишало его покоя: он явно искал подобие Лизы. Но Лиза такая была одна – неповторимая, невозможная, сумасшедшая, жестокая.

И все же она приехала, позвонила, назначила встречу в ресторане. Сергей Петрович почти час провозился с новым галстуком, который никак не хотел завязываться, и опоздал на пять минут. Увидел ее, сел за столик, и такая невыразимая тоска охватила его, что он обхватил голову руками и беззвучно заплакал.

– Да ну тебя, Серж, нашел время и место! – Она была в красном платье и черном жакете. От нее пахло Австрией. Что это был за запах, Дождев точно определить не мог, но было что-то в этом аромате горьковато-карамельно-ядовитое, чужое, острое, как шпили готических соборов или четвертные паузы на моцартовских партитурах. – Мне нужен развод. – Она сказала это так, словно в этот момент ей сделали укол и она скривилась от боли. Возможно, она ожидала сцены, но ведь нужно достаточно хорошо знать своего мужа, чтобы суметь предугадать его дальнейшие действия.

– Ты выходишь замуж? – Дождев вытер слезы и запил свое горе ледяной минеральной из Лизино, со следами розовой помады бокала.

– Да.

– За кого?

– За Глеба.

Он почему-то сразу понял, что речь идет о ее бывшем любовнике, Глебе Боброве, первой скрипке симфонического оркестра местной филармонии. Тогда при чем же здесь Австрия? Она что, все эти годы жила у Боброва на даче и там клеила иностранные марки на голубые конверты? А деньги? Откуда такие деньги? Чтобы уточнить, он все же спросил:

– Бобров?

– Да.

– А где же ты была четыре года?

Она снова поморщила нос и вздохнула, в нетерпении барабаня холеными пальцами по столешнице.

– Ну и зануда же ты, Дождев! Пойми, там я жила совершенно другой жизнью. Столько всего произошло за это время, всего не расскажешь. Ты прости меня, Сережа, но мне сейчас некогда, сейчас придет Глеб, и мне бы не хотелось, чтобы он видел нас вместе.

– Но ведь ты моя жена!

– Я? – Она отпила воды и усмехнулась, словно при ней спорили непростительную чушь. – Я сама по себе, понял? Была возможность пожить по-другому. Жизнь-то у нас одна. Это же так просто!

– Ты ничего не спрашиваешь о Мите.

– Я все знаю. – Она улыбнулась наконец, как прежняя Лиза, и глаза ее заблестели. – За ним тут присматривали, пока он учился. Кстати, у него теперь есть сестренка, ее зовут Габриэль.

Дождеву показалось, что все это ему снится, и он закрыл глаза. Нет, даже во сне нельзя быть такой легкомысленной! Между тем она продолжала, невозмутимо и деловито:

– Квартира ваша, я не претендую, могу подписать любые бумаги. Даже нотариуса пришлю. Не переживай. Видно, судьба у меня такая.

Вот этого Дождев не любил. Он терпеть не мог разговоров о судьбе и всегда считал, что человек сам себе хозяин. У него, пожалуй, впервые в жизни кончилось терпение. Он схватил

со стола хрустальный бокал и швырнул его. Раздался звон, возможно, стакан задел что-то хрустальное на соседнем столике, этого он уже не помнил. Последнее, что он сказал, замерев на мгновение и прислушиваясь к хрустальному звону, было:

– Фа дизз второй октавы.

Приблизительно месяц у него ушел на осознание происходящего, но теперь-то хотя бы было все ясно: Лиза ушла к Боброву. Он иногда встречал их на улице, здоровался и проходил мимо. Лиза первая стала заходить.

– Пришла вот вас навестить, моих птенчиков.

По-прежнему помогала деньгами. К тому, чем занимался Митя, относилась ровно, отмечая вслух, что у него «необыкновенное чувство цвета и хорошо получаются теплые тона». Иногда даже засиживалась допоздна, пока не звонил Бобров, и Лиза – бывали случаи, что даже с явным сожалением, – уходила, чуть не плача.

А потом появилась Марта, но Лиза продолжала приходить. «Мы же цивилизованные люди». Они втроем пили чай на кухне. Митя там не появлялся – не мог. Ему было стыдно перед отцом и Мартой. Что касается отца – здесь объяснения не нужны. А вот Марта. Ей казалось, что Митя не любит ее из-за ее хромоты. Но это было не так. Даже наоборот! Ему нравилась ее походка и этот страшный розовый шрам на пятке, который он видел в минуты близости и который так возбуждал его. Но ведь она его *мачеха*. Он не должен ее обнимать, разве что на Пасху. Обнимать и целовать. Он чувствовал, что обманывает ее, ведь она может его страсть принять за любовь, а потом, разочаровавшись, страдать и страдать бесконечно. Марта – существо тонкое, нежное и требующее внимания к себе не только как к женщине, но и как к личности. Митя это хорошо понимал. Но она была женой отца, и то, что они обкрадывали его и подло обманывали, не давало ему покоя. Но и сказать: «Марта, не приходи», – он тоже не мог. Он запутался, а поговорить об этом было не с кем. Митя ждал, что вот сейчас уже произойдет нечто такое, что сразу расставит все на свои места, но время шло, ничего не менялось, и Марта по-прежнему приходила к нему в мастерскую и в дачную спальню – туда, где был Митя.

Поэтому, увидев у калитки маму, он, как в детстве, кинулся ей навстречу. Обнял ее – она стала ниже его на целую голову – и зарылся лицом в ее мягкие светлые кудри.

– Малышка моя, я привезла тебе такие чудесные белила и кисти, что ты удивись. И еще лак необыкновенный. Я тебе позже переведу инструкцию. И еще много чего. – Она говорила быстро и много, но было ясно одно: она здесь, она *еще только* приехала и, возможно, останется здесь на ночь.

Маленькая квартирка Марты, расположенная рядом с театром в густозаселенном доме, где жили в основном артисты и музыканты, была тем тихим уголком, где можно было пережить душевные бури, все обдумать или просто отоспаться. В ней Дождевы жили все холодное время, а начиная с весны квартира пустовала: наступало дачное время. Марта сказала Дождеву, что ей необходимо срочно вернуться в театр, чтобы дошить платье, а красный бархат на отделку должны привезти в воскресенье вечером. Но, оказавшись дома, она поняла, что напрасно сбегала из Кукушкина, что от себя все равно не убежишь, и от всех нахлынувших на нее воспоминаний и чувств, связанных с Сергеем, она неожиданно для себя вдруг прониклась к нему такой нежностью, что даже всплакнула, сидя в темной комнате на кровати. С нежностью, но уже несколько другого, более изысканного привкуса, она подумала о Мите. Мальчик, похоже, совсем запутался. Понятное дело, что не кровь связывает их, но ведь нечто большее, и что станет с ними, узнай Дождев об их связи. Именно связи, поскольку любовью их вороватые встречи назвать нельзя. Митя ворует ее у отца, она тоже ворует его, Митю, у отца. Они обкрадывают славного и милого Дождева словно шутя, словно невзначай. Нет, это самообман. Она любит Митю, а он не любит ее, просто она молодая женщина, которая живет рядом с ним, посылает ему такие многозначительные взгляды и так разыгрывает случайные встречи в небольшом про-

странстве их дачного дома, что, не коснись она лишний раз его своим бедром или не покажись она ему как бы нечаянно нагой на веранде, кто знает, может, ничего такого и не было бы. Она вспомнила, как он поцеловал ее утром – ей показалось, что он сделал это из жалости к ее уродству, – и решительно направилась на кухню. Достала смугло-янтарную бутылку с коньяком и, отхлебнув прямо из горлышка, вздрогнула: зазвонил телефон. Кто бы это мог быть?

– Глеб, ты?

Они приехали через четверть часа: Глеб и его старинный приятель Дымов. Глеб, высокий, в роскошной желто-голубой блузе и белых широких брюках, его зычный голос был слышен еще в подъезде. Дымов – тихий очкарик в помятом костюме песочного цвета, у него обиженные, как у бассет-хаунда, глаза и добрая улыбка. Дымову необходимо было где-то переночевать, он приехал из Москвы по своим делам, а человек, пообещавший сдать ему на месяц квартиру, неожиданно женился.

– За один день? – растерянно улыбнулась растревоженная этим внезапным визитом Марта, наливая гостям коньяк и радуясь тому, что этот вечер ей не придется проводить в одиночестве.

– Да. Влюбился, и все тут. Он уж так извинялся, но что поделаешь. А в гостиницах мы жить не можем, правда, Женя?

Дымов смущенно пожал плечами и согласился кивком головы. Видно было, что московский гость утомлен и дорогой, и Бобровым, который без умолку тараторил, прерывая свою затейливую, как кружева, речь рюмками коньяка. Дымов почти не пил. Он лишь украдкой осматривал хороший кусок белого куриного мяса, на который уже давно нацеливался Бобров.

– Хорошо. Думаю, что мне удастся вам помочь, тем более что до осени квартира пустует. Что касается Мити, то я все ему объясню. А что Лиза, она не против?

Бобров шумно, со всхлипом вздохнул:

– А она не знает. Поехала в Кукушкино к Мите. Да какая разница, черт возьми! Это же сам Дымов! Ты, Марточка, еще не представляешь, что за человека я к тебе привез. Он замечательный, добрый, он друг Франсуа Планшара.

Дымов тронул его за рукав. Марта обратила внимание на покрасневшие веки Евгения Ивановича и сказала, что немедленно отвезет его на квартиру. На том и порешили. Ловко выдвинув из-под вилки Боброва блюдце с курицей, она зацепила волшебный, розовато-белый кусок и вручила его Дымову:

– Вот поешьте, а то совсем проголодались.

Бобров, сделав в воздухе вензель, прокашлялся и схватил яблоко.

– Однако. Ну, тогда поехали быстрее, а то здесь что-то душно стало.

Бобров в такси уснул, и они отвезли его домой. Когда Марта открыла дверь квартиры, в дверь ударил такой омерзительный запах, что она уже почти пожалела, что согласилась привести сюда Дымова. Митя – добрый мальчик, всем, кто ни попросит, дает ключи от квартиры. Накурили, насвинячили! Она, зажигая по пути свет, ужасалась, в каком состоянии квартира. Но Дымову, судя по всему, было сейчас ни до чего. Марта усадила его в кресло и принялась искать в кладовке консервы. Наскоро приготовленный ужин немного оживил гостя. Пока он ел, Марта собрала в доме все пепельницы, подмела полы, убрала все постели, с отвращением выбрасывая в мусорное ведро непристойные вещицы, разбросанные где попало. Постелив свежие простыни, она показала Дымову, где можно найти чистые полотенца, отдала ему ключи и, написав фломастером крупными буквами записку, адресованную приятелям Мити, в которой говорилось, что квартира занята, уехала к себе.

После фаршированных перцев и шпрот, после чудесного крепкого чая с печеньем Дымову расхотелось спать. Он включил телевизор, послушал немного последние новости и с нескрываемым интересом стал рассматривать картины, сваленные в кучу в одной из комнат. Нервно схватившись за подбородок, он энергично расставил их на все имеющиеся в

комнате возвышения и, разговаривая сам с собой, принялся изучать натюрморт с гранатами. Багрово-красные, с воспаленным зернистым нутром гранаты восхитили его. Хороши были и фиалки, нежным, по-зимнему вялым пучком лежавшие на скатерти с ярко-синим орнаментом.

– От бога, – несколько раз проговорил Дымов, осознавая, что столкнулся с настоящим художником. Ему уже не терпелось дожидаться утра, чтобы встретиться с автором работ. Из всего того, что сказали ему Марта и Глеб, он ровно ничего не понял. Ему даже в голову не пришло, что в этой квартире он будет жить один. Поэтому, удобно устроившись в постели и укрывшись двумя пледами, Дымов закрыл глаза и пожелал самому себе, чтобы эта ночь прошла как можно скорее, чтобы наутро ему встретиться с настоящим хозяином квартиры, у которого такие фиалки, такие гранаты, такой цвет.

В полночь в квартире Хорна раздался звонок. Он вырвал его из цветного прекрасного сна, где были Маша и он, орхидеи и машина, увозящая их далеко-далеко, где им будет хорошо вдвоем, это он знал наверняка. Он схватил трубку, но потом понял, что звонят в дверь. Прозрачный зрачок дверного глазка превратился в портрет молодой женщины в красном. Она изо всех сил давила на звонок.

– Это вы? – удивленно произнес Миша, впуская женщину и с трудом понимая, что происходит. Когда же до него дошло, кто стоит перед ним, а главное, в каком виде он сам, сон мгновенно улетучился, уступая место панике.

– Только не говорите, что эту ночь вы намеревались провести спокойно. Рано или поздно, но мы бы все равно догадались бы, что это ваших рук дело.

Анна присела на краешек кресла и достала из сумочки сигарету. Хорн, закутавшись в просторный черный халат, тоже с жадностью закурил. Он ровным счетом ничего не понимал.

– Что-нибудь случилось? – наконец спросил он, пряча под кресло свои большие белые ступни.

– Вы были последним, кто видел Машу.

Хорн округлившимися глазами смотрел на Анну и ничего не понимал. Разве мог он забыть, как вручил этой девочке в бело-голубом платье букет тигровых орхидей.

– Но это было в шесть часов вечера, а сейчас полночь! Вам не кажется, что прошло достаточно много времени. что с ней?

– Ее нигде нет.

Миша похолодел. После концерта – а Маша выступала почти последней – он и сам хотел увидеть ее, пусть даже и в сопровождении Матвея, чтобы выразить все, что переполняло его, когда он слушал «Фантазию-экспромт» Шопена, но ему сказали, что ее уже увезли. А кто сказал?

– Послушайте, не валяйте дурака, ведь вы же сами мне и сказали, что Маша уже уехала!

– Я тоже так думала, потому что видела, как Матвей отъезжает от училища. Мне надо было пройтись по магазинам, поэтому я и задержалась. А когда пришла домой, оказалось, что Маши нет. И не было. Что она после выступления как скрылась за кулисами, так ее больше никто и не видел.

– А при чем же здесь я?

– Миша, – голос Анны дрогнул, словно подпрыгнула алмазная игла на пластинке с записью ее голоса, – верните нам Машу. Она же совсем еще девочка. Я знаю, что у вас сложные отношения с «Дрофой», что Руфинов отказал вам в кредите, но, поверьте, не стоило опускаться до такого.

Хорн резко встал и плотнее запахнул халат. Высокий, худой, с черной с проседью гривой и впалыми щеками, он напоминал своим видом встревоженного ворона. Красивый крупный нос, тонкий с горбинкой, маленькие красные губы и синева на бритых щеках – Анна на какой-то миг даже залюбовалась им, вспоминая что-то свое. Но это длилось недолго.

– Зачем вы пришли? – сердито спросил Хорн и стряхнул со лба седую прядь.

– Чтобы спасти вас. Вот. – Она достала черный пакет, из которого высыпались черно-белые глянцевые фотографии. На них был Хорн, припарковывавший свой «Форд» возле дверей училища; вот он подходит к дому Руфиновых, а из подъезда выходит Маша, которая не может не видеть его, она направляется к черному «Мерседесу»; Хорн в магазине, где Ольга с Машей примеряют перчатки, и тому подобные снимки.

– Что это?

Маше снилась Анна, которая душила ее. Ей было так плохо, что хотелось плакать, но не было ни слез, ни голоса, ничего, словно в нее закачали смертельную дозу новокаина, и ее всю раздуло, перекосило, и она погрузилась на дно колодца, называемого бесчувствием. Постепенно сквозь сомкнутые веки стали пробиваться розовато-малиновые блики, она попыталась открыть глаза, открыла их и поняла, что еще ночь, а она лежит в незнакомом ей месте и даже без одеяла.

– Анна Владимировна!

Она думала, что крикнула, а на самом деле едва пошевелила губами – звука не было. Когда глаза привыкли к темноте, Маша попробовала пошевелиться и ощутила внезапную боль в затылке, потом холодный комок поднялся изнутри к горлу и скользким, словно тина, содержимым ее стошнило прямо на подушку. «Я не дома». Это было первое открытие, потому что дома пахнет по-другому. «Но и не на даче. Тогда где?» И вдруг она вспомнила мелькание деревьев за окном и желтый вытертый коврик у самого лица. Кажется, Анна ей сказала, что машина ждет, что отец отпустил ее покататься с Хорном. Она села в белую машину, но ей стало почему-то плохо, так плохо, что она упала головой вниз, прямо на пол машины. Так, значит, она в квартире Хорна! Но ведь отец убьет его, если узнает!..

Маша встала и на цыпочках пошла к источнику света. Это была большая комната, настолько большая, что напоминала своими размерами ресторанный зал, где она разносила гороховый суп. Значит, это не квартира, а что-то другое. Может, офис? И тут она разглядела нечто похожее на маленький диван, на котором кто-то спал. У Маши от страха подкосились ноги, она, пятясь, вернулась на то место, откуда начала свой осмотр, и принялась искать выход. Наткнувшись на дверь, она открыла ее и оказалась на кухне. Включать свет было опасно, но сильно хотелось пить. Маша напилась прямо из-под крана, и ее снова стошнило.

Она рассуждала примерно так: если есть кухня, значит, должен быть и туалет. Нашупав на стене выключатель и увидев тонкую полоску света, она скользнула в ванную комнату, заперев за собой дверь, и с ужасом посмотрела на свое отражение в зеркале. Бело-голубое платье стало грязным, словно им мыли полы, на щеке ссадина, сильно болит локоть, он даже распух и приобрел лиловый оттенок. Вымыв по возможности все открытые части тела, сполоснув рот и побрызгавшись чужими духами – зеленоватой душистой жидкостью из большого прозрачного, похожего на гриб сморчок флакона, – она сунула руку в карман и, убедившись, что деньги, которые дал ей утром отец, на месте, вышла из ванной, выключила свет и, отыскав наконец дверь, тихо вышла из квартиры.

В подъезде было светло. Маша быстро спустилась вниз, выбежала на улицу и, глотнув свежего влажного воздуха, направилась к мигающему желтым глазом светофору.

Город спал. Она посмотрела на часы – половина третьего. Останавливать в это время машину опасно. Но, как ни странно, звонить домой не хотелось. Чувство полной свободы пьянило ее. Преодолев страх, Маша подумала, что убийцы и маньяки, уже закончив все свои кровавые дела, наверняка спят в своих берлогах и что только какой-нибудь очень несчастный человек – или, наоборот, счастливый, который, к примеру, только что узнал о рождении сына, – может сейчас колесить по городу. Подняв с асфальта половинку красного кирпича и спрятав

его за спину, она подняла вытянутую руку навстречу мчащейся машине. Раздался визг тормозов. Водитель меньше всего походил на маньяка.

– Тебе куда?

– Если вы не убийца и не сексуальный маньяк, тогда на вокзал.

Мужчина средних лет в темном свитере и очках, делавших его похожим на учителя физики, пожал плечами:

– Я маньяк. У меня мания зарабатывать деньги. Не могу я без них, понимаешь?

Она села и всю дорогу держала наготове кирпич. А на вокзале, когда, сунув ему в руку деньги, побежала к перрону, она услышала вслед:

– Кирпич брось, слышь, ненормальная!

Цену деньгам она впервые в полной мере узнала на вокзале. Это были незабываемые минуты. Бродя по залу ожидания, держа уже купленный на шесть утра билет на электричку, Маша, решив, что настал *ее* час, в первом же ларьке купила джинсовые шорты, черную майку и белую кофту на черных пуговицах. В следующем ларьке за смехотворную цену купила легкие белые сандалии. Переодевшись в туалете, Маша сложила всю свою грязную одежду в новый пакет и оставила его за смывным бачком. Вышла к зеркалам и, не обращая внимания на тупо уставившуюся на нее сонную уборщицу, еще раз умылась, причесалась, подкрасила губы и, вполне довольная собой, поднялась в буфет. Там ее уже ждал жареный цыпленок, булочка, салат, пирожные с шоколадным кремом и сколько угодно пластиковых стаканчиков с горячим кофе. Все это было так вкусно, что от сытости Маша разомлела и подумала, что, вероятно, ей это снится. Теперь, даже если родители и отыщут ее, она скажет, что очнулась не в сомнительной квартире, похожей на столовую, а в Кукушкине. А там сейчас вишня, клубника и никого, никого! Она посмотрела на часы: еще только половина пятого.

Пока Лиза жарила оладьи, Митя у себя в комнате разглядывал привезенные матерью тюбики с красками. Она привезла коробку, в которой, как спеленутые младенцы, лежали туго набитые всеми оттенками зеленого краски, дорогие японские кисти, флаконы с лаком и большая коробка белил.

Потом он вышел в сад и, соблазнившись чудными запахами, свернул в летнюю кухню. Дождев-старший поливал растопленным маслом оладьи, Лиза сосредоточенно следила за поджаренными с краев островками пузырчатого желтого теста. Они о чем-то тихо говорили.

– А что его ждет потом? Ты подумай, Серж, это ведь шанс! Ой, Митя, будь другом, принеси корзинку с клубникой, папа насобирал и оставил прямо на грядке.

После обеда Митя, набросив на плечо толстый ремень этюдника, пошел к реке. Как ни странно, за весь день он ни разу не вспомнил о Марте. Приехала мама, и они все это время жили, как прежде, одной семьей. Вот только она теперь не имела права садиться к отцу на колени, как делала это раньше. Зато у нее, в отличие от отца, было две жизни: одна с Глебом, а другая – с ними, с Дожевными. Интересно, а если бы Марта не уехала, стала бы мама возиться с оладьями, чтобы накормить ими женщину, с которой спит ее бывший муж? Наверное, если бы можно было, она жила бы с двумя мужьями сразу. Так надежнее и веселее, только готовить пришлось бы ведрами. Ведро супа, ведро тушеного мяса, таз оладий. Только куда же они дели бы Марту? Отвезли назад, в костюмерную?

Он стоял на высоком берегу, над рекой, в которой плыли словно размазанные по невидимой палитре неба белые облака, и до боли в глазах всматривался в дрожащий голубой воздух. Между тем его рука нервно, но точными и верными штрихами наносила сперва карандашом, а потом кистью черты лица, которое он не мог забыть. К вечеру на холсте проступила нежная матовость щек, тонкий нос, смелый разлет бровей и крупные, с сентябрьскую сливу, продолговатые темные глаза, и все это в обрамлении густых вьющихся рыжих волос. Фоном,

переливаясь всеми оттенками изумруда, служила листва того самого дуба, под которым тогда и спрятались от дождя Митя и эта странная тройца.

Взмокший, уставший, голодный, но вполне довольный своей работой, Митя, сложив краски и закрыв этюдник, собрался было уже уходить, как вдруг увидел стоящую поодаль от него женскую фигурку. Солнце уже опустилось и лохматым вишневым шаром еще источало яркое теплое сияние. Все вокруг было розовым: и вода в реке, и кусты, и фигурка на берегу. Очевидно, это была та самая девушка, о которой он мечтал весь день. У художников так часто бывает – и люди верят этому, – что портреты оживают, и прекрасные женщины, грациозно перемахнув через рамку картины, прыгивают на грешную землю и целуют свежими теплыми губами своих творцов, они обнимают их нежными руками, говорят разные приятные слова и позволяют любить себя до утра. А утром возвращаются в свой линейный, пахнувший красками мир и продолжают смотреть оттуда всю оставшуюся жизнь.

Теперь наступила пора Дмитрия. Он подошел к девушке и обнял ее. Они лежали на теплой, еще не успевшей остыть от солнечных лучей траве и целовались до головокружения. Нежные колени ее, влажные от зеленого сока листьев одуванчика и травы, были прохладными и гладкими, как фарфор. Он пытался согреть ее своим телом, но она лишь зябко жалась к нему, выискивая на плече мягкую впадину, где, найдя ее, сморенная ласками, на несколько минут замерла. Она дышала тихо и ровно, и от этого благодного покоя, от богатых красок заката, игравшего всюду, куда ни посмотри, воспаленными бликами от молочной розовости до глубокой рубиновой сумеречности, Митя вздохнул в голос, как вздыхают, пробуждаясь от несбыточных снов, хорошо понимая это. Словно в ответ на эту непосредственность женщина легко поднялась и, прихрамывая, пошла в сторону дороги, ведущей на станцию. Митя весь покрылся испариной, холодная липкость которой в момент отрезвила его: *Марта!*

– Марта! – Он кинулся вслед за ней и схватил ее за руку.

Солнце уже зашло, и волосы, казавшиеся ему совсем недавно золотыми, холодно-русыми завитками хлестнули его по лицу. Марта смотрела на него отсутствующим взглядом. Наверное, она все поняла.

– Ну что, мальчик, наигрался с тетей?

– Нет, не говори так! Ты... ты приехала на электричке?

– Нет, на велосипеде.

Чувствовалось, что она устала, устала от всего: от Мити, от себя, от своей любви.

– Куда же ты? Пойдем домой, там отец, он обрадуется.

– Нет, не обрадуется. – Она, теребя воротник его рубашки, усмехнулась: – Там Лиза, они на веранде пьют чай. И им хорошо вдвоем.

Она вырвала свою руку и побежала по тропинке. Митя догнал ее, проводил до станции, по дороге как мог успокаивал, целовал мокрое от слез лицо, обнимал ее, дрожащую, а когда подошла электричка, помог подняться, постоял немного на перроне и... вошел вслед за ней.

Гера лежала в черном шелковом халате на постели и курила. Она слышала, как Вик плещется в ванне, как он напевает что-то, и это мешало ей сосредоточиться. И все равно мысли о том, что маленькая и глупая Машенька Руфинова сейчас спит под действием эфира, грела ее. После того как Хорн выставил ее, как ненужную вещь, за дверь, она ждала удобного случая, чтобы отомстить. Хотя это громко сказано. Гера не принадлежала к числу людей, для которых чувство мести затмевает все. Скорее всего, она ждала, когда случай сам предложит ей блюдо с корчащимся на нем Хорном. Гера была слишком ленива и непоследовательна, чтобы без усталости разрабатывать и обдумывать план мести, да и вспоминала она об этом зудящем чувстве лишь тогда, когда расставалась с очередным любовником. Но после встречи с Виком, который познакомил ее со своей сестрой, Гера нашла, что лучшего случая не придумаешь. Мстить чужими

руками – что может быть удобнее. Единственное, о чем она жалела, так это о том, что не увидит выражения лица ненавистного ей Хорна, когда тот узнает об исчезновении своей пассии.

Машу увезли сразу после концерта на машине, похожей на автомобиль Хорна. Это была идея Вика. Он же с помощью платка, смоченного эфиром, усыпил Машу и отвез ее на квартиру. Остальное должна была сделать Анна. Только одного не могла понять Гера: зачем похищать дочку управляющего банком, если при этом не требовать выкупа? Какой в этом смысл? Ждать, что Руфиновы сойдут с ума от неведения? Неужели в этом и заключается вся затея? Глупо. И не такая она дура, чтобы поверить в этот бред. Пусть официально о выкупе нигде заявлено не будет, но какие-то денежки Анна с этой семьи поимеет. Но как, каким образом, Гера не знала. Когда она начинала расспрашивать Вика, тот только пожимал плечами и говорил, что сестра у него со странностями и что у них с Руфиновым старые счеты. Однако Гера была не так глупа, чтобы не понять, что вряд ли они стали бы рисковать, похищая Машу, если бы дело не пахло деньгами. Они что-то скрывали. И еще: зачем они посвятили в это дело ее, Геру? Зачем она им нужна? Вот об этом она и думала, лежа на постели и пуская дым кольцами. Сейчас придет Вик и она его хорошенько расспросит, уж она постарается быть с ним ласковой. Но когда вернулся Вик – с мокрой головой, голый, покрытый влажной темно-коричневой шерстью, – Гера поняла, что не скоро она сможет с ним поговорить. Он, гулко колотя себя в волосатую крепкую грудь и выкашливая остатки воды вместе с обрывками фраз, вновь обрушился на Геру, сорвал с нее халат, который черным глянцевым пятном распластался на ковре. Совершенно бесстыдный, самоуверенный и грубоватый Вик иногда пугал ее, предлагая совершенно непредсказуемые варианты любовных игр, которые и любовными-то трудно было назвать. Он мог до получаса давить своими локтями Гере на грудь, делая ее неподвижной и практически не давая ей дышать, почти насилуя ее. И если первое время чувственной Гере это нравилось – они с Хорном-то расстались из-за фантазий Вика, который заманил ее в мастерскую, где их уже ждал Саша, – то вскоре поняла, что так дальше продолжаться не может, что она не выдержит физически, она или задохнется, или ее разорвет на части. Синяки фиолетово-желтыми цветами уже давно украшали ее хрупкое тело. Но обо всем этом она думала, когда оставалась одна. Стоило раздаться знакомым шагам за дверью, как она, едва увидев Вика на пороге, тут же теряла твердость и позволяла раздеть себя в прихожей. Это было как болезнь. Вот и сейчас, чувствуя, что Вик готов проникнуть в нее, такой дикий, сильный и огромный, как он врывается в нее весь, словно хочет почувствовать вкус ее печени или сердца, она вдруг вся напряглась и, больно схватив его зубами за плечо, успела подумать: «Я тоже сделаю тебе больно», – и тут же получила удар по лицу, слетела с кровати и оказалась на полу. Вик наотмашь ударил ее еще раз, перевернул на живот и, не обращая внимания на ее отчаянное «Нет!», навалился на нее и зарычал, получая свое скотское наслаждение.

Через час, когда он ушел, оставив ей на постели деньги «на пирожные», Гера заперлась в ванной, словно ее могли подслушать, и, приходя в себя в горячей воде, составила мысленно записку, которая начиналась приблизительно такими словами: «Вы получите свою дочь завтра, 15 июня, если принесете...»

– Я никому не покажу снимки, – сказала Анна, собирая и укладывая их в сумку, – если вы пообещаете мне кое-что.

Хорн сидел напротив нее и равнодушно рассматривал пуговицу на ее костюме. Он знал, что, едва она уйдет, он тотчас отправится к Руфинову и все ему расскажет, начиная с орхидей и заканчивая визитом Анны. Но пока он молчал, слушая ее голос и пытаясь понять, что этой женщине от него нужно. Когда она произнесла слово «выставка», он словно очнулся.

– Какую выставку?

– Мой брат – талантливый художник. В июле или августе будут отбираться работы местных художников на аукцион в Европу. Так вот, я бы хотела, чтобы вы приняли в этом участие,

вложили в это дело деньги и сами бы имели право голоса. Понимаете, в чем дело, – Ольга не возьмет работы Вика.

Хорн едва сдержался, чтобы не расхохотаться ей в лицо.

– Руфинова? Вы говорите об Ольге Руфиновой? Помнится, она еще год назад обещала отремонтировать бывшие художественные мастерские под галерею. Я не понимаю, почему вы пришли ко мне. Машу я не похищал, хотя и следил за ней, не скрою, поэтому ваша уверенность меня, мягко говоря, удивляет.

Последнюю фразу Хорн произнес довольно вяло, почувствовав внезапную слабость. У него было слабое здоровье, и тут этот визит, какой-то пошлый шантаж, угрозы, фотографии, выставки. Он хотел уже было сказать ей, чтобы она уходила, как вдруг Анна, схватила со стола пепельницу, швырнула ее в книжный шкаф с застекленными дверцами – послышался звон стекла и ее – Анны – неоправданный крик. Хорн увидел, как она пытается полоснуть осколком по своей руке, как разрывает на себе блузку и мажет окровавленной рукой по своей же щеке, шее. Через несколько мгновений Анна, вся в крови, уже звонила и кричала в трубку:

– Борис! Это я, Анна. Я у Хорна, фотографии у меня! Он пытается меня убить! Приезжай скорее, Борис!

Хорн выбил трубку у нее из рук. Наступила тишина. Анна, страшная, похожая на покойницу, стояла у груды битого стекла и курила. Лицо ее было спокойным и даже насмешливым.

– Ну, что теперь скажете, господин Хорн?

Он тяжело дышал, понимая, что если сейчас нагрянут люди Руфинова, то ему придется туго. Одного взгляда на Анну им будет достаточно, чтобы скрутить ему руки и сделать из него отбивную.

– Не знаю зачем, но вам хочется, чтобы у меня были неприятности. – Миша почувствовал себя мальчиком. Он пожалел уже – и в который раз! – что не поехал за отцом в благословенную страну, где тепло и все говорят на иврите. – У меня есть немного времени, поэтому я вынужден взять вас с собой. – Он схватил ее руку, заломил за спину и, сняв дрожащими пальцами пояс с халата, крепко связал ей руки. – Я не варвар, у вас красивый рот, поэтому кляп вставлять не буду, но на случай, если закричите, возьму кусок мыла вместо кляпа. – Он быстро оделся и вместе с Анной вышел из квартиры. Гараж находился во дворе. Не спуская глаз с женщины, он открыл гараж, втолкнул Анну в машину и уже через четверть часа мчался по ночной трассе подальше от своего дома. Страх мешал ему говорить, он только смотрел на дорогу и давил на газ.

В Кукушкине, рядом с дачей Руфиновых, жила Вера Александровна, средних лет женщина, которая присматривала за их дачей, убирала там и поливала цветы. Маша подумала, что вряд ли Вера Александровна знает о том, что произошло, а потому первое, что сделала, сойдя с электрички, – это постучала к соседке. Светловолосая, анемичного вида женщина открыла дверь.

– Я за ключами. Родители позже приедут, у них там что-то важное в городе.

Вера Александровна закивала головой и принесла ключи.

– Молоко будешь, Машенька?

Когда Маша кончила пить, то почувствовала себя аквариумом, заполненным молоком, в котором плавают молочные рыбки и растут творожные или сливочные водоросли. Только теперь они должны называться «молокоросли».

– А где тут у вас магазины?

– Один только магазин, да и то в нем ничего нет, разве что хлеб. У вас там кладовка есть, в ней найдешь консервы разные, я покупала, как Ольга наказывала, для гостей, что ли. Если хочешь, я помогу тебе. Будешь куда уходить – на пляж там или еще куда, – ключи под крыльцом оставляй, чтоб не потерять.

В доме было чисто, но очень душно. Маша распахнула окна, которые выходили в сад, чтобы с дороги не было видно, что здесь кто-то живет. Осмотрев комнаты с плетеной мебелью, лампами и напольными вазами, правда без цветов, Маша поднялась на второй этаж, где располагалась родительская спальня. Розовые обои, белая кровать, тумбочка и два кресла – скучновато, но спать, наверное, будет удобно. Решив про себя, что именно в этой розовой спальне она и проведет свою первую самостоятельную ночь, девушка спустилась, села на кушетку и, зажав пальцами нос, прогнусавила, изображая Анну:

– Это непотребное чтиво, Маша. Это пошлый поступок. Это недостойно внимания. Я вот скажу твоему отцу. – Она разжала пальцы, пошмыгала покрасневшим носом и рассмеялась. Боже, как это хорошо, оказаться здесь, в этом раю, совершенно одной!

В чулане Маша нашла синюю потрепанную джинсовую кепку, надела ее, спрятав волосы, нацепила на нос купленные уже здесь, в Кукушкине, на станции, солнцезащитные очки в тонкой металлической оправе и, вполне довольная этой импровизированной маскировкой, вышла из дома.

Дачный поселок располагался на небольшой возвышенности и простирался вниз до самой деревни, куда вела желтая песчаная дорога. За поселком темнел окутанный сизой дымкой хвойный лес, постепенно переходящий в смешанный, а справа, за деревней, протекала речка, довольно узкая, с несколькими чистыми песчаными пляжами. Вот туда и направилась Маша, прихватив у Веры Александровны, к которой зашла на минутку, пакет с теплыми пирогами. Но на полдороге остановилась и с ужасом поняла, что собралась на пляж без купальника. Это открытие, однако, не остановило ее. Она, перебежав песчаную дорогу, углубилась в густые, шелково-влажные, в клочках пены ивовые заросли, прошла вниз по реке и оказалась в тихом укромном месте, в уютной, как бассейн с прозрачной водой, заводи, которая наполовину была скрыта от глаз. Там, прислушиваясь и ни на минуту не забывая, что рядом деревня и большой дачный поселок, а это означает, что желающих искупаться больше чем достаточно, разделась и, оставшись совсем без одежды, осторожно вошла в воду. Тело ее, желавшее свободы не менее, чем рассудок, взлетело над водой и скрылось в зеленоватой прозрачности. Небольшой шок, вызванный резкой переменной температуры, сменился ощущением полнейшего блаженства, когда, легко разгребая перед собой воду и словно отталкиваясь от невидимой опоры, как лягушка, Маша перевернулась на спину, полюбовалась ярко-синим с белыми пушинками облаков небом, снова перевернулась и, напившись кожей влаги, вышла на берег и завернулась в прихваченную из дома простыню. Она сидела в чудесной зеленой арке под ивами и напевала мотивчик моцартовской «Волшебной флейты», пока сон сладким желанным дурманом не погрузил ее в свою радужную муть.

Только оказавшись в городе, Митя понял, что совершил нечто из ряда вон выходящее. Он сошел с ума. Марта, которая все полтора часа спала у него на плече, все поняла по его глазам.

– Ты можешь вернуться следующей же электричкой. Тебе незачем успокаивать меня.

Они стояли на перроне и оба чувствовали неловкость. Митя из жалости не предпринимал первых шагов, а Марта отлично понимала это.

– Почему ты не осталась в Кукушкине?

Он несколько раз мысленно задавал ей этот вопрос, а теперь произнес его вслух. Марта, нервно-заученным движением запуская пальцы-гребень в волосы, меланхолично проводила по голове, не зная, как объяснить Мите, что застала Дождя с Лизой на кухне, где они, очевидно вспомнив прошлое, расслабленные летней жарой и вседозволенностью, предавались таким изысканным ласкам, что Марта взволновалась совсем как тогда, в костюмерной, куда они пришли с Сергеем в первый раз и где им было так хорошо. Дождь, быть может, и не очень мужественный мужчина, он худощав, бледен, узкоплеч и мягок, но так нежен, так изысканно нежен,

что только за одно это качество она не намерена отдавать его обратно Лизе. Марта нахмурила брови, что не скрылось от взгляда Мити, не знающего, куда себя деть и что ему делать дальше. Марта взяла себя в руки.

– Ты сейчас поедешь в Кукушкино. Там папа волнуется, они ищут тебя. В такой темноте, как ты понимаешь, этюды не пишут.

Она обняла его, поцеловала горячими губами в щеку и быстро пошла прочь. Митя же уселся на скамью и стал ждать электричку. Услышав шаги, он подумал, что Марта возвращается, но увидел приближающегося к нему мужчину. Поравнявшись с Митей, незнакомец попросил сигарету. Было темно, все фонари разбиты, но Митя все же узнал его.

– Вик, это ты?

Вик от неожиданности вздрогнул.

– Дождь! Ба! Ты что, в городе?

Если бы Митя не знал его, то подумал бы, что этот человек смертельно напуган.

– Что с тобой? Ты чего здесь ошиваешься? Сдал мою квартиру за пять долларов за ночь и теперь не знаешь, куда податься?

Митя хохотнул и ткнул пальцем Вика в живот, пытаясь рассмешить приятеля. Но Виду было явно не по себе.

– Ты уже был дома? – задал он самый важный для него вопрос и замер.

– Зачем, чудак-человек, мы же договаривались, что я предварительно предупрежу о своем приезде. Я же с пониманием. Успокойся, меня здесь еще месяца полтора не будет. Там, в Кукушкине, сейчас самый сезон для рисования. Мне там пишется, так-то вот!

Вик облегченно вздохнул:

– А я вот что-то не пишу. Не пишется. Помнишь, еще весной начал «Масленицу», баб румяных написал, самовары, крендели, ну и все такое, кисть сама рисовала, а потом вдруг раз, и все.

Митя хотел было пригласить его в Кукушкино, но, представив, как Вик будет таскаться за ним с этюдником по полям и лесам, испугался. В конце-то концов, существуют же разные там Снегиревки и Клещевки, где ничуть не хуже, вот пусть туда и едет. Они пожали друг другу руки, и Вик ушел. Митя же, соблазненный Виком, тоже закурил.

Стало прохладно и темно, подошел какой-то мужичонка в ватнике.

– Электричка будет только утром. Видишь, никого нет, чего стоять-то?

Мужичонка ушел, а Митя, не зная, что ему делать, вновь опустился на скамейку. К Марте нельзя, ни в коем случае нельзя. К себе – тем более. Куда? Не к Боброву же проситься на ночлег! И тогда он вспомнил о существовании такси. Были бы деньги.

К Гере он приехал в половине одиннадцатого. До замужества она позировала Мите, писала ему длинные любовные письма, дарила хорошие кисти и краски, связала свитер, носки, приносила пирожки и салаты – словом, была влюблена. Это длилось около трех месяцев. Потом Гера исчезла и появилась к нему в мастерскую уже солидной дамой, в короткой норковой шубке и беличьей шапочке, сказала, что вышла замуж и что теперь будет позировать ему бесплатно, больше того, она сможет помогать ему материально, покупая его картины. Митя, в котором Гера вызвала лишь эстетические чувства, поскольку была очень хороша собой и походила на брюлловских чернокудрых и белокожих красавиц, посадил ее тогда на высокий табурет, полюбовался несколько минут ее ярким свежим румянцем, выбившимися из-под меха блестящими завитками волос, яшмовыми – зелень в черную крапинку – глазами и округлыми коленями в туго обтянутых белых пушистых теплых чулках и сказал, что завидует ее мужу. На этом их односторонняя любовь, подчиняясь всем законам физики и геометрии, где царит равновесие, закончилась (если и была вообще). Однако Гера свое слово сдержала. Она, конечно, не позировала, Митя сам ей не предлагал, чтобы не нажить себе неприятностей от ее мужа, но

картины время от времени покупала, и по приличной цене. После развода, о котором она рассказала ему в самых трагических, мрачных тонах, сопровождая рассказ слезами и полуинтимным «понимаешь?», Гера, вернувшись, несчастная и без средств, в свою квартиру, попыталась реанимировать свое прежнее чувство к Мите, но он, увлеченный в это время Мартой, так и не откликнулся на ее «зов». Единственной причиной, которая могла бы заставить его прийти к Гере, было жгучее желание вернуть свои работы, выкупить, пусть и подороже. Он знал – Гера ему рассказала, – что его картинами были увешаны стены именно ее квартиры, поскольку муж, не разбирающийся в живописи, был к ним равнодушен и считал, что ни к чему превращать дом в картинную галерею. Но Митя чувствовал, что Гера лукавит, просто она устроила себе гнездышко по своему вкусу и, быть может, именно там отдыхала душой. Как бы то ни было, но порядка тридцати работ он таким образом лишился. Поэтому он очень удивился, когда, оказавшись наконец на квартире Геры, не увидел ни одной своей картины. Первая мысль была: продала. Но кому?

– Митя?

Они некоторое время разглядывали друг друга в полутемной прихожей. Митя отметил, как потускнела красота Геры, как осунулось ее личико, глаза стали как будто глубже и темнее, а на щеках появились нездоровые впадины, как после тяжелой болезни. Он слышал, что она встречается с Виком, но неужели Вик – причина ее чрезмерной худобы и кругов вокруг глаз? (О том, что он встретил его сейчас на станции, Митя промолчал.)

– Я думал, у тебя здесь галерея, – начал он, чтобы дать себе возможность как-то привыкнуть к перемене, произошедшей с Герой, – ты что, спрятала все мои работы в кладовку, про черный день? – И тут же он понял, что неудачно пошутил.

– В кладовку про черный день, – прошептала Гера, и слезы, собиравшиеся хлынуть целым потоком обид и сожалений, застыли на ресницах лишь скудными каплями.

Она почувствовала себя предательницей, ведь картины она даром отдала Вику, который продавал их заезжим иностранцам, выдавая за свои. Иногда Вик после удачной сделки покупал Гере помаду и конфеты:

– Держи свои комиссионные.

Гера старалась не думать о том, что рано или поздно правда всплывет, как всплывают неожиданно и неотвратимо утопленники, и поэтому старалась избегать Митю. Но когда растаял снег и Дождевы уехали в Кукушкино, предоставив Вику ключи от своей квартиры, куда тот и пригласил первый раз Геру, ей стало уже совсем не по себе. Она не могла спокойно находиться в комнате, где еще недавно так волновалась от присутствия другого мужчины. Может, отчасти поэтому она постоянно сравнивала их – Митю и Вика. С Митей у нее не было близости, но он относился к ней как-то особенно бережно, как к фарфоровой безделушке, и только любовался ею, ведя себя крайне осторожно, чтобы не обнадеживать, то есть честно. Вику же глубоко наплевать на нее, она это знала, чувствовала, но подчинялась ему рабски, отчего сама же и страдала. Спрашивая себя, почему она не расстается с Виком, Гера приходила каждый раз к одному и тому же выводу: она не может жить одна, боится. Она ничего не умеет делать, а Вик дает ей денег. После таких размышлений она давала себе слово не подходить к двери, когда раздастся условный звонок, но всякий раз, слышав его, как загипнотизированная бежала открывать.

Теперь же, когда перед ней стоял Митя, Гера от стыда покраснела. Она опустила голову, позабыв пригласить гостя в комнату.

– Мне нужны деньги, Гера. Наверное, я пришел не по адресу, да и продавать я ничего не хочу, вот если только оставить в залог один незаконченный портрет?

Гера, желая искупить свою вину, закивала головой и тут же вынесла последние пятьдесят тысяч, которые Вик оставил ей «на пирожные».

– Столько хватит?

Он объяснил, зачем ему деньги, и стал открывать этюдник. Гера замотала головой и сказала, что дает ему в долг, что вовсе не обязательно оставлять залог, но Митя вручил ей портрет, поцеловал в щеку, улыбнулся и ушел.

– Зайду через неделю, – сказал он ей на прощание.

Гера убрала картину за занавеску на подоконник и вернулась к записке. «Вы получите свою дочь завтра, 15 июня...» «Нет. – Она снова разорвала листок в мелкие клочки. – Все это глупо. Незачем мучить несчастных родителей». Она набрала номер телефона Руфиновых, но потом бросила трубку.

Хорн гнал машину, пока не кончился бензин. Они заправились на окраине города, и вновь началась беспцельная гонка по пустынным ночным улицам. Анна беспрестанно курила, ее бледное лицо до сих пор было вымазано в крови. Неглубокие царапины на руке, которые она сама себе сделала стеклом, подсохли.

Хорн остановил машину – свет фонаря осветил красный жуткий подтек на лбу Анны – и приказал ей немедленно вымыть лицо. Он развязал ей руки, достал бутылку с водой и, отдыхая, наблюдал за тем, как она оттирает кровь смоченным платком. Потом снова связал ей руки. Анна за это спокойно обозвала его дураком, сказав, что выпрыгивать из машины не собирается, и он развязал ей руки.

Хорн устал, смертельно устал, поэтому едва не сбил бросившегося под колеса юношу. Машина резко затормозила, стало тихо. Хорн увидел, как из-за капота показалась сначала взлохмаченная голова, появилось испуганное лицо с большими глазами. «Жив, слава богу». Хорн вышел из машины и извинился.

– Может, вас подвезти?

– Понимаете, мне в Кукушкино очень надо, не отвезете? – Юноша достал деньги и показал их Хорну. – Это все, что у меня есть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.